

Маленькая комната / рассказ

Category: Hekaýalar, Kitapcy

написано kitapcy | 24 января, 2025

Маленькая комната / рассказ МАЛЕНЬКАЯ КОМНАТА

– Ревёшь? – говорит папа.

Не ревела, лежала – перед глазами нити, соринки, плотная ткань. Как легла на покрывало, так и пролежала словно бы с больной головой; не расправила. Мама бы отругала, расстроилась. Что это я такая некрасивая, такая неаккуратная, такая плакса.

Не реву, перестала.

– Что случилось? – папа садится на край дивана, – да что бы ни случилось – нечего так голосить. Будто покойник в доме.

– Я не голосила. Тихонько лежала.

– Телевизор перекричала ведь, да и я услышал... Нет, правда. Что случилось?

– Ничего.

– Ничего?

– Ага.

Папа смотрит на пол – на раскиданные, перемешанные ноты.

– Не получается?

Анна Николаевна вчера говорила, кричала. Первая ноты с фортепиано смахнула – а я сидела на корточках, собирала. Не знаю, как смогла не расплакаться – наверное, потому что не хотелось потом идти по холоду с мокрым лицом, да ещё в автобусе все смотреть будут. И с ресниц чёрное потечёт, а станешь стирать пальцами – только хуже сделаешь.

Нет, я вчера не плакала.

– Анна Николаевна сказала, что у меня должно уже быть всё готово. Материал. Что она не должна учить со мной, что всё сама. Ей – над звуком работать. И, если я даже выучить не способна, то надо ли вообще ехать?

– И я думаю, что не надо. И мама...

– Это вы сейчас так говорите, когда я плачу. А потом будет стыдно, что я всё ещё дома. Ведь никому не рассказать будет.

– Мы не за этим хотим...

Мне снова хочется плакать, и хочется, чтобы папа вышел из комнаты, чтобы Валя написала эсэмэску, чтобы Анна Николаевна заболела. Но у неё даже насморка не бывает. Сама много раз видела, как она приходит в музыкалку в тоненьких колготках по морозу, и ничего.

– Вот, теперь улыбаешься. Пойдём чаю выпьем.

Мне не хочется чай, но поднимаюсь – чтобы папа подумал, что это он меня спас, развеселил. Умываюсь, в зеркало смотрю.

Губы накрась, сказала Анна Николаевна. И не бойся ничего.

Тогда купила помаду в бытовой химии на обратном пути – и недорогую нашла, за шестьдесят рублей – но неправильную, как оказалось. Когда накрусилась и в школу пришла, Вера сразу же сказала – э, мать, да у тебя губы морковные. Я посмотрелась в телефон – плохо видно, но, наверное, и вправду морковные. Стёрла в туалете и больше не красила. Перед уроком вокала только, и Анна Николаевна довольна была. Видимо, ей всё равно, что губы морковные – главное, что есть помада, и что я ничего не боюсь.

А я к ней боюсь идти, но папе не говорю.

Мама уже сидит на кухне. Несколько лет назад сюда принесли маленький телевизор – сейчас он включен, поэтому мама не слышала, о чём мы с папой говорили в комнате. По телевизору идёт детектив.

– Смотришь? – беру пульт, оборачиваюсь к ней.

Она не смотрит. Сидим в тишине и ждём, пока засвистит чайник.

– Ты чем поедешь? – вдруг говорит мама, – с какой сумкой?

– Не знаю. Мне бы чемодан.

– У него ручка сломана.

– Да, и он старый уже. Мы же с ним сколько ездили....

Ездил, конечно, папа. В командировку в Питер, ещё куда-то – уже и не помню. Но всякий раз непременно с чемоданом, хотя сам больше любил большие спортивные сумки. Но нужно было выглядеть – ну, представительно, что ли, поэтому и чемодан.

– Поезжай с моей синей сумкой. Всё влезет. Да много ли тебе надо...

– Много. Платье, туфли, колготки... Несколько пар, потому что

могут порваться. Просто одежда, каждый день ходить. Шампунь. Получается, что много.

Папа не вмешивается. Ему не хочется разговаривать о колготках.

– Я со старой сумкой не поеду.

– Почему?

А как я в комнату в общежитии приду, ту синюю сумку на пол поставлю? И при всех. Они будут смотреть, как я расстёгиваю молнию, достаю вещи. И даже не в вещах дело. Они ведь, девочки из комнаты, тоже будут поступать – и услышат, как я пою. И подумают – и поёт плохо, и сумка у неё обшарпанная, немодная. Хотя бы что-то одно. Я так думаю.

– Мам, ну я в первый раз далеко так одна еду. Я хочу красиво выглядеть. Мы же и джинсы уже купили...

– Джинсы – понятно, у тебя старые порвались. А сумка ещё хорошая.

Чайник выкипает, и я выключаю газ. Становится тихо, и родители смотрят на меня.

– Да, хорошая. Конечно.

Папа спрашивает, сколько мне заварки наливать. Мы пьём, обжигаемся и едим бутерброды с маслом и сахаром. Мама так давным-давно научила делать. Я люблю.

– Ладно, может, ещё и купим, – папа отрезает ещё хлеба, – мне отпускные дадут. А вы уже поругались.

Мы упрямые с мамой. Первые не станем говорить. Поэтому папа долго говорит один, рассуждает, считает. Говорит, что в этом году должно выйти тысяч сорок. В сорок я не верю, но хорошо бы. Тогда будет и сумку, и, возможно, новое платье. Это обсуждали уже. Платье-то у меня есть, но короткое – чуть ниже колена. А Анна Николаевна сказала, что нужно длинное, в пол. Иначе, мол, никто и слушать тебя не станет. Мама не поверила.

– Спроси у Вали – может, у неё чемодан есть.

Я качаю головой. Ничего у Вали нет. Она и не уезжала никогда из Череповца, разве что в деревню. Или к дяде с тётей, в Устюжну. Но туда и с обычным пакетом поехать можно.

Беру телефон со стиральной машинки. Включаю экран – одно непрочитанное сообщение.

– Я погулять выйду. Ненадолго.

– Это кто, Валя? А куда пойдёте?

– Не знаю. Она пофотографировать хочет, пока светло.

– Не замёрзнете?

Пожимаю плечами. Апрель. В кожаной куртке пойду, хотя к вечеру и поднимется ветер. Можно бы и тёплую куртку, но не хочу выглядеть по-дурацки перед Валею. Быстро одеваюсь в комнате, крашу ресницы.

И не видно почти, что плакала. Захожу снова на кухню, в куртке уже. Они не ушли никуда – сидят, и телевизор включили, и по второму стакану чая налили.

– Пап, можно завтра не идти на вокал? – спрашиваю. Не отвечают.

Ты же так радовалась раньше, могли бы сказать. Ты же помаду купила. Мы же пианино старое у соседей забрали, ещё и грузчикам по двести рублей заплатили, чтобы на третий этаж затащили.

– Ладно, ничего, – отмахиваюсь, – вот погуляю. Пройдёт. Просто устала.

Папа остаётся с мамой, и всё время кажется, что они молчат без меня.

Выхожу на улицу без шапки.

Я не устала. Просто весной вокруг губ начинает трескаться, и голова тяжелая – на восьмом уроке часто начинает звенеть в ушах, тихонько, явственно. Вера говорит – аскорбинку надо пить. Мама купила сразу же, как я попросила. Только забываю. Вот и сегодня забыла.

Тороплюсь, потому что, хоть и апрель, а недолго светло будет. Все время какой-то смог, будто стекло грязной тряпкой протерли: кругом разводы.

Автобус минут двадцать едет, а всё в окно смотрю. На остановке «Рынок» входит пожилая женщина с сумкой-тележкой, и я уступаю место. Долго благодарит, и пахнет от неё едко, приторно. Я думаю о немытом сером линолеуме у неё в квартире, о ковре на ржавых кольцах, и посуде в серванте. И так редко доставала по праздникам, а тут и дочка говорить стала – не надо, мама, из обычных тарелок поедим.

Валя ждёт на набережной, смотрит на вскрывшиеся воды. Была

здесь недели три назад – так ещё во льду всё было, а сегодня наверняка нет. Я бы хотела когда-нибудь успеть заметить, как всё меняется кругом, но постоянно опаздываю.

Как сегодня.

Валя вынимает один наушник.

– Привет! Уже темновато.

– Я автобус ждала.

– Давай просто пройдемся.

Мы идём – Валя чуть впереди. У неё рюкзак и специальная сумка для фотоаппарата. Ей отец подарил. Он приезжает редко. Но Валя, кажется, этому рада.

– А встань здесь, – просит Валя.

Я поворачиваюсь спиной к реке.

Она достаёт фотоаппарат.

Не знаю, сколько он стоит.

Может быть, много.

Может, и чемодан у неё стоило спросить.

– А что с лицом, плакала?

– Да. Немного. Родители выбесили.

– Что, не хотят, чтобы ты ехала поступать?

Валя щёлкает фотоаппаратом.

– Так? Почему молчишь?

– Так фотографии же не получатся.

– Забей. Просто стой спокойно. Я же тебя настоящую снять хочу. Так что с родителями?

– Я им пыталась объяснить, что такое Москва. Что там никто в старой одежде на улицу не выйдет. Что все красивые, в парикмахерскую каждые две недели ходят. И что я не могу приехать такой, как здесь хожу – что тогда лучше и вовсе не ехать.

Так и Анна Николаевна говорила.

И прядку на палец наматывала. Противно это выглядело. Не хотелось смотреть.

А сейчас вспоминать не хочется, но само собой лезет в голову, представляется.

– Наверное. Я-то не знаю. А они что?

– А они говорят, что папа работает в школе, а мама вообще с

работы уволилась. Что они не могут сейчас мне покупать. А я ведь и не про то совсем, мне для себя ничего не нужно – вообще всё равно, в чём, например, в школу ходить. Но там-то уже не смогу...

– Почему не сможешь? Какая разница?

Чувствую, что глаза жжёт. Вытираю руками, словно бы соринка попала.

Валя опускает фотоаппарат. Над Шексной поднимается ветер. Мы рассматриваем краны у Судостроительного завода. Днём они кажутся жёлтыми, а сейчас – просто белеют неясно, тревожно. Сколько себя помню – они всегда были здесь, но никогда не работали, не поднимали грузы. Просто стояли. Я иногда думала – а если я всё-таки уеду, а потом вернусь через много-много лет, может ли быть такое, что они вдруг заработают, поедут по рельсам? Мне даже иногда хотелось уехать и вернуться просто для того, чтобы увидеть, как всё изменилось.

– Опять этот запах. Чем тут всё время так пахнет?

– Не знаю. Не чувствую. А чем? – Валя смотрит по сторонам, как будто может разглядеть запах. Но ничего не видно – только река с чёрной водой и расколовшимися льдинами, выщербленный асфальт, фонари на мосту.

– Не знаю. Я думала, что все чувствуют.

Валя качает головой. На ней чёрное короткое пальто, джинсы и замшевые ботинки.

– Вот мой дядя тоже говорил, когда приезжал, что у нас пахнет. Но я подумала, что он просто привык к другому воздуху – к деревенскому, знаешь.

– Твоя дядя разве из деревни?

– Ну да. Ему в больницу надо было сходить, вот он и приезжал.

– Я думала, что он в Устюжне живёт.

– Недалеко. Но здесь-то отец его в заводскую устроил.

– Понятно.

Становится холодает. Уже и реку плохо видно.

– Может, возьмём вино и пойдем ко мне? Тут недалеко.

Мы уходим от реки к домам. По дороге Валя показывает фотографии – я, со взвихренными ветром волосами, стою возле, некрасиво сжимая замёрзшие пальцы. Они красные. Но Валя

говорит – это ничего. Будет красиво. Я не верю, что будет. На любых фотографиях вижу, на семейных застольях – светлые немытые волосы, нездоровую кожу, неумело покрашенные глаза. И Анна Николаевна, когда я впервые пришла к ней на занятие, посмотрела словно бы свысока, потому что я никогда не носила капроновых колготок, не красила ногти, не покупала духи. Она наверняка обрадовалась, когда я пришла с дурацкой рыжей помадой. Хотя что-то, подумала. Красивее не стала, но хоть что-то.

Валя живёт в девятиэтажном доме. Мы несём красное вино в бумажной коробке – купили в палатке, где продавщица знала Валю, потому и не спросила – ни паспорта, ничего. Да я и брала с собой.

На лестнице уже не пахнет совершенно ничем, только чистящим средством и землёй от цветов – кто-то, наверное, очень одинокий, расставил горшки со спящими цветами на подоконниках, протёр пол, закрыл форточки. Оттого и пахнет землей. Спрашиваю Валю – кто, родители?

– Нет, будут они. Мама и дома-то убираться не любит. Так, через раз. А тут на четвёртом этаже бабка живёт, не в себе немного. То есть она мусор с улицы не приносит, на площадку в одном лифчике не выходит, ничего такого. Просто цветы поставила и ругается, если ноги не вытираешь. А так не мешает никому.

– А кому могут помешать цветы?

– Вначале кто-то опрокидывал горшки, знаешь... Выходит, что помешали.

– Подростки, наверное.

Представила, если в нашем подъезде кому-то вздумалось так сделать. Цветы бы с третьего этажа на асфальт полетели – сколько себя помню, всё время на лестнице кто-нибудь стоит, а я глаза отвожу.

– Подростки, – говорит Валя, – а мы кто?

– Мы нет, – говорю, – но мы были. Помню.

– И когда же перестали быть? Вот не чувствую ничего.

Она наливает вино, мы садимся. Стол чистый.

– И вы не смеялись ни над кем?

Она смотрит странно, непонимающе. Они не смеялись. Над кем им – они и сами все странные. Это гимназия. Это совсем другое.

– Нет.

– А у нас было, – вино кислое, картоном отдаёт, чем-то неестественным, – только в одиннадцатом перестали. Могли бы и раньше упокоиться. Но не успокаивались. Подростки.

– Было что?

Обои на кухне светлые, в невидимых тонких листиках.

– Была девочка. Помню, меня спросила учительница – почему вы не дружите с ней? А я ответила – вам показалось. Или как-то так. Наверное, вежливее. А она просто заметила, что Валючка всё время одна да одна, в классе, в спортивном зале, в столовке – везде. И пиццу никогда не покупала в буфете. Понимаешь? Все покупали, а она не покупала. Надо же так.

– Ты ведь не виновата.

– Как же – не виновата. Я и начала первая.

– Ты не могла. Ты тихая.

– А меня девочки спросила – что, ты хочешь с ней дружить? А она в старых джинсах ходила, в какой-то кофте растянутой. Я тоже тогда мамины вещи донашивала. Но не огрызалась, не ссорилась ни с кем. А она зло отвечала, грубо. Они сами приставали, понятно. Но я бы боялась грубо отвечать. А она нет. И вот девочки спросила – хочешь с ней дружить, с Валючкой-сучкой? Её как тебя звали. Прости.

– А дальше?

– А как я могла дружить с Валючкой-сучкой? Я и сама была... Это сейчас другая. Папе повысили зарплату – они мне и джинсы купили, и пиджак, и юбку. Но не в том дело. Когда ты донашиваешь мамины вещи – не можешь дружить с Валючкой-сучкой.

– И что ты ответила?

– Что нет. Что не хочу. А что должна была ответить?

– И вправду. Что ты должна была ответить?

Вижу, что Валя сделалась грустная.

Ей красиво с короткой стрижкой – не знаю, правда, что родители ей говорят, потому что с такими короткими мало кто ходит, разве только взрослые женщины, которые на себя не смотрят. Валя тоже как будто бы не смотрит, но на ней всегда красивая

рубашка, цепочка, незаметные серёжки. Мы познакомились три года назад на олимпиаде по немецкому. У неё не было сигарет, а у меня были. Разговорились. Она сказала, что ей нравятся девушки.

— А сейчас не можешь подойти к этой девочке? Блин, вам по шестнадцать-семнадцать. Лбы такие. И до сих пор Валючка-сучка осталась?

— Осталась. Только не говорим.

— Дожидаешься, пока из Че уедешь? Понятно.

— Ничего я не дожидаюсь! — отодвигаю бокал с вином дальше, чтобы под локоть не попал. И зачем заговорила? Не просил никто. Теперь оправдываюсь — но справедливо.

— Смотрела фильм «Чучело»?

— Это старый такой? Нет. Я старое не смотрю.

— Зря, — Валя словно бы и не пьяная, хотя вино закончилось в коробке, — что значит — старое. Всё старое. Всё время будет старым.

— Я нет так... — хочу продолжить, но вдруг Валя поднимает голову, точно прислушиваясь. Сама молчу — хотя звуки этой квартиры и плохо знакомы, непривычны. У себя слышу дверь подъезда, кодовый замок, шаги по лестнице.

— Мама с работы идёт, — говорит Валя.

— Бокалы убрать?

— Нет, — Валя так и сидит за столом молча. Слышим ключ в замке, потом низкий женский голос.

Её мама полная. Толстые руки, широкие плечи. Сквозь белую блузку видно бельё.

— Здравствуйте, — говорю.

Она кивает не глядя, ставит на табуретку пластиковый пакет.

— Вы бы хоть поели.

— Мы только пришли.

Её мама кивает на бокалы, на мятую коробку:

— Заметно, что только пришли. Сколько раз тебе говорила — не покупай ты эту «Долину». Дрянь. Не пожалей триста рублей на нормальное, если уж пьешь. Да ты и не одна, а с девочкой.

— Её Вика зовут.

Киваю, стараюсь на смотреть на неё грудь, на подбородок. И

пахнет она стиральный порошок, сыростью, автобусом.

– Я колбасу принесла. Порежешь, Валь?

– Пускай Дмитрий Евгеньевич режет, – говорит Валя

А кто такой Дмитрий Евгеньевич, кто?

Отчим?

– Не груби. Постеснялась бы, – Валина мама режет хлеб. Крошки сыплются на стол.

– Простите, мне пора, – говорю, а Валя кивает и не смотрит на меня. Провожает до дверей, и ей стыдно.

Остаётся в квартире, трёхкомнатной и красивой, с чистым полом, светлыми занавесками. Маленькая она, Валя, ниже меня, хотя и старше почти на год.

Где она купила синюю рубашку, в которой стоит, грустная, недоговорившая важное?

В маленьком белом плеере «Сплин». Как закачала три года назад, так и оставил. И автобус слушает и молчит, хотя не слышит, и я прижимаю ладонь к стеклу, размазываю грязь.

На телефоне горит:

Папа

Вик, ты далеко?

Я

Через десять минут буду.

Автобус едет двадцать, и семь – ещё до подъезда идти. Но это значит только – что я скоро, что я помню – завтра понедельник, и встать нужно в семь ноль пять, а после школы идти на вокал, на который должна ходить, потому что нравится.

Потому что через четыре месяца я поеду поступать в колледж, а остальное здесь оставляю – и Валючку-сучку, и колбасу на пару в белой тарелке, и слипшиеся макароны, и запах растаявшей реки, и грязь на стёклах, и даже другую Валю.

Я совсем новой поеду.

*

Я складываю зонтик. С него капает на пол – никто не видит, но мне неловко, что никогда не могу незаметной зайти, но всё время роняю, падаю, пол пачкаю. Хотя вода уйдёт, испарится –

уже послезавтра, когда приду в музыкалку опять, на полу ничего не будет. Впрочем, я однажды видела женщину, которая моет здесь полы. Вечером, после всех – после маленьких, которые здесь учатся, после таких, как я – взрослых почти, но решивших отчего-то не теми быть, кем думалось; после Анны Николаевны.

Анна Николаевна, вы здесь?

Я на десять минут опоздала.

Это дождь.

Но я не хочу входить в кабинет запыхавшейся, некрасивой – с предыдущей девочкой заниматься ещё не закончили, слышу сквозь дверь, как она поёт «Поле, поле чистое». Анна Николаевна постоянно её поправляет, и первый куплет начинается снова и снова. Поле, поле...

И не допёт, если я не зайду.

Останавливаюсь перед зеркалом в холле.

Из-за дождя лицо выглядит бледным и неприметным – точно и тушь смылась, и карандаш для глаз. Но это неправда – под глазами только немного черного, и я стираю растёкшуюся косметику пальцами. Но лицо остаётся – это после дня в школе, после алгебры, после физкультуры, на которой всегда сижу на скамеечке и смотрю на играющих в баскетбол красивых девочек, но всё равно устаю, будто так хочу быть с ними, среди них, что воображаю себя играющей.

Волосы мокрые.

– Опаздываешь, девуль, – говорит дядя Толик, охранник – полный и улыбчивый, у которого вечно «Русское радио» играет, а все педагоги и завучи в музыкалке его ругают и просят сделать тише, а я думаю – неужели ему меня слушать, и Катю слушать, и Кристину слушать, и Анну Николаевну, а поздно вечером вообще ничего, только пустой коридор.

– Здравствуйте, дядя Толя, – улыбаюсь ему. У него на лбу какие-то бугры, но не противно на него смотреть – может быть потому, что за мужчинами никогда не наблюдала так пристально, как за женщинами, не присматривалась, поэтому просто привыкала к внешности, и всё – сейчас, только расчешусь.

– А то ты нечёсаная не споёшь, – улыбается, – сильно льёт?

– Нет, я просто раньше на остановку вышла.

– Зачем это?

– Не знаю. Пройтись хотелось.

– А, – он кивает, – я тоже всегда из дома пешком на работу иду. А то тут засидишься с вами.

Он не зло.

Дверь открывается, и Анна Николаевна выходит в коридор. Она, наверное, химию сделала.

– Вика, я твой голос через дверь слышу.

– Здравствуйте, Анна Николаевна.

На ней короткое чёрное платье, расшитое блестящими бусинами.

– Почему не заходим?

– Причёсывалась.

– А тебе причесаться важнее?

Не отвечаю.

Но важнее.

Не могу дальше ходить замарашкой, странной, в пол глядящей. Того и гляди – подойдут и грязную воду из-под кисточек на платье выльют, книжку отберут и растопчут, или ещё что-то такое сделают, о чём вспомнить будет стыдно. Мне стыдно. Лежу ночью и обои рассматриваю, а всё стыдно.

А перед Валючкой-сучкой – не стыдно?

Может, поэтому Валя и написала ничего. Я ждала, что напишет.

– Просто дождь.

– Ну хорошо. Мы уже закончили.

Я беру расчёску, и рюкзак, и мокрую куртку. В кабинете одевается девочка, у которой урок перед моим. Не спрашивала, как зовут. Младше меня, из другого района ездит. Прощается с Анной Николаевной и уходит.

– Пятнадцать минут ей отдала, – Анна Николаевна садится за фортепиано, – я задерживаться не могу, ты знаешь.

Знаю. Всегда ждёт восьми и уходит. Даже если автобус сломался. Даже если свет отключали.

– Ну что? – она ми-мажорное трезвучие, – пела дома?

– Нет.

– И хорошо.

Она играет.

Ри-и-и-и-и...

Ри-и-и-и-и.

– Ротик открывай. Округли там, – она поворачивается ко мне, открывает рот сама, показывает.

Ри-и-и-и, ри-и-и-и-и.

После каждого звука говорит – смотри, смотри, как надо. Показывает, как нужно слегка-выдвигать

– Нет, не так. У тебя глаза есть? А ушки? Тебе нужно себя ушки наострить, в самую внимательность превратиться. Смотри, как делаю. Просто повторяй. Не думай.

Я не думаю.

Ри-и-и-и...

– Да почему ты на этот слог распеваешься? Других гласных нет?

– Вы сами сказали.

– Что я сказала? Может быть, тогда было хорошо. А сейчас – плоско, мерзко.

Я стараюсь.

– Горлышко освободи.

Пою.

– Ладно, хватит.

Думает, смотрит на себя в полированную лаковую крышку фортепиано. Этот кабинет – её; в запахе приятном и сладком, в баночках, конфетных фантиках, крошках от печенья на полу, мятых нотных листках повсюду – она всегда аккуратно переписывает ученикам произведения со своих сборников, которые, кажется, собрала ещё её мама, потому берегла, смотрела. Я плохо читаю ноты.

– Ну ладно. Поём романс.

Пою выученное за полгода, она играет и слушает. Не останавливает – тут уже как спою, так и останется. На экзаменах никто не даст исправиться – поэтому я стараюсь не тянуться за нотами, а находить внутри, тянуть линии, и стоять ровно, не раскачиваться на месте. Что ты как деревце под ветром, сказала Анна Николаевна на одна одном из первых занятий. А ну стой спокойно.

– А ну стой спокойно, – она поворачивается, не прерывая игры.

Не вижу себя, не контролирую. Когда начинаю думать – не смотрю на себя ни в окна, ни в крышку пианино (для этого надо зайти

ей за спину), а она не любит, раздражается.

На заре ты её не буди,

На заре она так сладко спит...

Заканчиваю, смотрю – и непонятно, хорошо ли, довольна ли. Замечаний не делает, достаёт папку с нотами – сейчас будет мне другое, может быть, новое. Значит, хорошо. Довольна.

– Хорошо, – говорит, – хорошо, Вик. Если так споёшь на вступительном – будет замечательно.

Улыбаюсь. Странно, вроде и не готовилась совсем – текст не декламировала, не учили. Так просто, как стихотворение помню. Когда встретила в хрестоматии – удивилась даже, не поняла, откуда в книжке взялся романс. Теперь-то знаю, что все песни взялись из книжек. Наверное, почти все, потому что один раз мы пели Чайковского, а его в книжках я никогда не встречала.

– Но ты не споёшь. Трястись будешь.

– Почему?

– Ты, главное, других не слушай, – она не слушает, – даже если вам класс для распевки дадут – не слушай, сама распойся и уходи.

– Почему?

– Знаешь, какие там будут? Я помню, – делается странная, грустная. Знаю, отчего. Она в молодости тоже ездила в Москву, поступала в Гнесинку. Не поступила.

– Знаю, вы рассказывали.

– А я сразу им не понравилась. И тогда не без гордости была, уверенная в себе. Восемнадцать лет, обожала музыку, дни и ночи пела, всё знала, всё... Природа была – вот у тебя природы почти никакой нет, зато старательная, послушная. Они меня послушали и решили – нет, с такой природой не сладить, ничему не научится, только провоюем зря. И не взяли. Пришлось мне в наш колледж искусств поступать, но тут совсем не то... Зря только проездила. Но зато Москву посмотрела, по Александровскому саду погуляла. Не знала ещё, как в метро зайти, всех спрашивала – где жетоны купить, где что. Смешно, наверное, выглядело: такая высокая девушка, в нарядном платье – в ателье специально мама заказывала, голубое, в вышитых по подолу цветах – накрашенная, а глупости спрашивает. Ну, подсказали. Но, знаешь, нечего там

было делать. Где родился – там и пригодился. Не знаю, что всем в Москве как мёдом намазано.

Мне вовсе не мёдом. Я и сама не знаю.

– Мне-то все говорили – давай, попробуй, голос такой, замечательный голос, ты его здесь похоронишь. А я – ну, мелкая была, глупая – послушалась и поехала. Папа денег на билет дал, на жизнь. Остановилась у тёти Тани – она мне не тётя, понятно, так, седьмая вода, а приютила. И недалеко от вокзала – семь станций ехать, как сейчас помню. Вышла замуж за москвича. Наверное, ты тоже хочешь выйти, а уж поступление – это так?

Качаю головой. Хотя я бы хотела жить в семи станциях от вокзала. Выходишь из дома – а там деревья, большие дома, старые площади, магазины и кафе, которые не закрываются даже ночью.

Что нужно сделать, чтобы жить в семи станциях от вокзала, как тётя Таня?

– Хотя нет, ты не хочешь, – поворачивается и смотрит, – Вик?

– Да?

Смотрю на покрашенные набрякшие веки.

– Ну ты там губы покрась, что ли. Нельзя же так.

Говорю, что нельзя. А как – так? Неужели мне можно идти домой и больше никто ни о чём не спросит?

*

Утром не иду в школу.

И папа не идёт.

Что ж делать, объяснил он маме, ничего не поделаешь. И она ушла, а мы остались.

– Завтракай, а потом пойдём.

Мне и не хочется. Но мама бутерброды оставила, овсянки холодной немного. Грею на маленьком огне, комочки перемешиваю.

– А ты?

– Немного.

Раскладываю овсянку. Папа добавляет ложку сахара из фарфоровой сахарницы со сколотым краешком.

– Может, тебе все-таки надо было на уроки? – сомневается,

задумывается над кашей.

Пожимаю плечами. Может, и надо было. Сегодня две литературы, немецкий и физика. Ещё что-то, не помню.

Поздно ночью папе позвонил дядя Сева – сказал, что плохо. Папа спросил – до утра терпит? Папа-то сразу к рубашке потянулся, к свитеру. Плохо помню дядю Севу – он приходил к нам, когда я совсем маленькая была. На коленях у него любила сидеть. Потом как-то сторонились друг друга, хотя папа у него был.

Приходи хоть с дочкой, попросил дядя Сева. А то никого, не могу больше.

Два года назад, когда я была в девятом, у дяди Севы нашли что-то в лёгких, и с тех пор не кончается.

– Не страшно идти? – спросил папа, я покачала головой.

Не страшно.

Мы доедаем кашу и собираемся.

– Только в магазин зайдём, – предупреждает папа, – и в аптеку. Он просил купить...

– Купим, конечно, – киваю.

Выходим на улицу, под блёклое солнце, остановившееся над крышей соседнего дома. И стыдно, но чувствую радость – что есть дело, важное дело, что сейчас все раздеваются в гардеробе, переобувает сменку, а я не с ними.

Дядя Сева кашляет, когда звонит папе. И не так кашляет, как при простуде бывает – а как-то неглубоко и надрывно, будто сам не хочет, но что-то прорывается изнутри. Мама боится, когда он звонит, раздражается, хотя он не виноват. Но и мне не по себе, и папе.

В аптеке никого. Папа покупает но-шпу и анальгин. Аптекарьша только посмотрела на нас. Рано, и высокие оба, небрежно, некрасиво одетые, закутанные.

Едем до Доменной. Тут трамвай стоит дольше, поэтому не спешим, выходим медленно – папа первый. Близко девятиэтажки с чёрными окнами-провалами, незастеклёнными балконами.

– Это выходы на лестницу, – говорит папа, – и я в таком доме жил. Это общага.

– Где жил, здесь?

– Нет, в Вологде. Но похоже. Тоже высокий дом. Гадость, если

честно.

– Почему гадость?

– Ну как почему. До кухни через коридор идти – и этой кухней все пользуются, весь этаж. Человек тридцать, да ещё днём друзья ко всем приходят... И так плиты стоят – чёрные, страшные. Поэтому на втором курсе уже никто не готовит, ходит в столовку или к родственникам, если есть.

– А ты куда ходил?

– Куда придётся. К двоюродным не ходил. Они тоже молодые были, как-то не принято. Да и гордость. Да нет, стипендия была нормальная, можно было и в столовке, даже в кафе иногда. Если с девушкой.

Хочется спросить про девушку – ведь не мама же, правда, мамы тогда не было, она и в Вологде-то не была никогда, но мы входим в подъезд, и я присматриваюсь ко всему в тусклом свете. Морщусь. Сильно пахнет кошками.

На первом этаже никого.

– Под ноги смотри, – и я смотрю. Мы поднимаемся по лестнице.

– Какой этаж? Этот?

– Третий.

На втором был пожар – лестницу тоже задело, лежит чёрная копоть, валяется мусор, обрывки пакетов. На тряпках сидит собака, но нас не замечает.

– Гляди, у неё щенки.

– Не подходи только, – папа берёт меня за локоть, – все-таки не надо было тебя брать.

Собака ворочается на тряпках, поднимает морду. Щенки пищат.

– Пошли, – мы снова идёт по лестнице. По коридору идёт женщина в коротких штанах и обтягивающей футболке. На волосах бигуди, но чёлка падает на глаза – поэтому, чтобы разглядеть нас, женщина отводит её руками.

– А, вы к Бороде? – спрашивает.

Папа кивает. К Бороде?

– Ну давайте, а то он вчера плакал – уж я зашла, укол сделала. Я ж на медсестру училась, могу, не всё ещё позабывала... да как тут, бля, забудешь, если то одного прихватит, то другого. С неделю назад один курицей траванулся, так блевал так, что мне

коридор мыть пришлось. А что делать, ходишь тут, а под ногами...

– Он нас просил лекарства купить.

– Купил – хорошо. Сам-то он из дому не выходит. За водкой ходил, а сейчас не ходит.

– Он и не пил, за какой водкой? – говорит папа. Мы подходим к деревянной двери без номера.

– Ага, не пил, Трезвенник. Да ты посмотри на него, трезвенника, и девке своей покажи! Он чисто сука лежит, головы даже не поднимает, как зайдёшь. Идите-идите, увидите.

Я почему-то вспоминаю собаку в тряпье, что сидела на сгоревшем этаже. А к нам ведь тоже животные могут войти, но почему-то не заходят. Никогда ни кошки не видела, ни собаки, ни голубя.

Женщина бормочет что-то про себя, не слушаем – папа стучится, никто не отвечает, снова стучится.

– Сева, – говорит, – Сева, ты там?

Открываем дверь и заходим сами. Там разложенный диван без постельного белья, и на диване лежит Борода. На полу прогнившие доски – делаю шаг, чувствую что-то липкое, застывшее. Смотрю под ноги – на досках что-то чёрное. Папа старается на чёрное не наступать.

На столе литровая банка с водой, открытые консервы, хлеб в целлофановом пакете. Сильно пахнет мусором.

– Тебе же нельзя пить, – говорит папа Бороде.

Дядя Сёма открывает глаза, долго моргает, присматривается. На нём расстёгнутая рубашка и трусы. На впалой груди чёрные и седые волосы, и какие-то красные точки, будто бы от укусов.

От него сильно пахнет нестиранной одеждой и ещё чем-то – едким потом, лекарствами, заскорузлыми тряпками.

– Ты к кому, – бормочет.

– К тебе. Давай, вставай. Чаю выпьем, – папа подходит к столу, ищет чашки. Мне неприятно смотреть вокруг, и на дядю Севу – страшно, но тоже хожу по комнате, достаю с полки сахар, чайные пакетики.

Дядя Сева уже сидит на диване.

– Ничего, если я так?..

Мы ничего. Он остаётся сидеть в трусах.

– Вчера что-то... думал – помру. Ой бля, – прижимает руку к

груди, – чувствую, что там что-то происходит, вчера как будто распирало изнутри...

– Но ничего? Ведь лучше?

– Не знаю. Поспал. Таблетки выпил.

– А тут женщина говорила, что ты пьянствуешь тут.

– Кто? Катька? Да вы ей, шалаве, не верьте. У самой откуда деньги на кофточки, на помаду? Муж-то не даёт ни копейки, а сама не работает. Знает она. Я сказал ей, что плохо совсем, а она заладила своё – от водки у тебя, от водки наказание. Как будто сама не хлестала с утра до ночи, пока печёнка не полетела. Вы ей не верьте.

– Мы не верим. Ты Вику-то узнал?

Папа кивает на меня. Я стою над чайником и не знаю, как включить.

– Электрический сломался у меня, девочка. Надо кипяtilьником – он в полке, поищи... – дядя Сева приподнимает, потом охает, прижимает руки к груди и садится. – Узнал, конечно. Хотя вроде пониже росточком была, и груди поменьше.

– Ты за словами-то следи, – папа не злится. Я наливаю чай дяде Севе и папе.

Почему Борода только? Щетина есть, рваная, трёхдневная, воспалённая кожа горит.

– Тебя соседка Бородой называет, – папа о том же думает, берёт чашку, на не пьёт. Чашки я не мыла, да тут и негде. Наверное, раковина есть в конце коридора, но не хочется туда идти. Среди тряпок уже видела шприц, и на подоконнике тоже.

– А, ну отращивал, было дело, – улыбается, – был чёрный, страшный. Хотя девкам нашим в школе нравился. Помнишь?

Папа, наверное, помнит. Дядя Сева работал в папиной школе учителем физкультуры. Потом что-то случилось такое, о чём мне не рассказывали, и его уволили. Он переехал в общежитие, стал выпивать. Потом заболел. Стал сильно кашлять и звонить папе. А папа из-за этого всё время ссорится с мамой, потому что она не понимает, какая была охота брать день за свой счёт и ехать сюда, где тряпки, гнилые овощи и плесень на стенах. И я тоже думаю, что это неприятно и незачем, но ведь дядя Сева не так виноват. И я думаю, что, если бы с папой такое случилось, то и

к нему станут приходить и чай заваривать, и запах терпеть, и разговорами занимать.

– Девкам... скажи – учительницам. Твоим девкам некоторым под семьдесят.

– И что. Всё одно, – дядя Сева слегка улыбается, тянется за чашкой. Долго дует, пробует. Ставит обратно на стол. – Мне горячее нежелательно, всё полутёплым пью, хотя дрянь. И макароны не грею. Катька сварит кастрюлю, у неё беру.

– Видишь, и тут тебя девки любят.

– Да ну, какое – любят. Думал вначале – возьму потихоньку, кастрюлю макарон целую наварила, не убудет. Ну, взял. Ничего не сказала. Деньги ей в сумку положил. Сто рублей. Потом ещё сто. Так-то просить не хотелось, чтобы ну – готовила и на меня тоже. Мне у плиты тяжело стоять, все время голова кружится. Катька ничего не говорила, просто молча приносила всё – даже солёные огурцы у кого-то на рынке покупала. И в первый раз тогда нарочно на мою долю макароны сварила – а я думал, что краду. Не всерьёз, конечно. В детстве-то не считалось грехом яблоко или пирожок украсть. Еды не касалось.

– А почему ты Катьку ругал, если она тебе готовит и уколы делает?

– А, – чай остыл, и дядя Сева отпивает понемногу, – она с мужем живёт. Предлагал со мной жить – отказалась. Сказала – я твою задницу видела, чего ещё смотреть? Так и не согласилась. Ещё ругается, что я пью.

– Тебе нельзя, Сев.

– Почему это? Теперь всё можно. Как вторая флюорография пришла – всё можно, – и он смеется тихо и хрипло, потом устаёт от смеха.

Молчим. Потом он просит меня снова встать и поискать на полках – карамельки в пакете, печенье. Сам не ест, нам, хотя мы и сказали, что не надо.

– Да, – папа спохватывается, – мы же тебе лекарства купили.

– Спасибо. Вчера до Катьки докричаться не мог. Потом только пришла, ночью. Говорю – шалава. Где шлялась? Нигде, говорит. Ладно, говорю, сделай мне укол. Потому и уснуть смог.

Папа выкладывает из барсетки таблетки.

– Вчера Катьки не было – так вдруг захотелось на людей посмотреть. Телевизор сгорел. Стал думать о тебе, о жене твоей... вспомнил, как сидел у вас, а она уходила в комнату, обиженная такая, не хотела с нами. И думал, что, если бы у меня была жена, то я бы не приводил друзей домой, не таскался бы за чекушкой в палатку утром. Я бы мирный был. Я бы дом обустроивал. Двери, шкафы. И не фабричное, дерьмовое, а сам бы сделал, руками.

Слышишь?

А почему жена не пришла?

– Ты знаешь, почему. Сам же сказал.

– Помню. Помню, – он вдруг смотрит на меня и улыбается – весело, по-настоящему, как будто нет ничего вокруг – ни рассохшейся мебели, ни плесени на полу

– А, понятно, – он, опираясь на руки, отодвигается от стола. Запах усиливается, бьёт в нос, – что-то устал. Вы простите. От разговоров устал.

– Да мы пойдём, – папа смотрит на меня.

– Да, – Борода прикрывает глаза, – спасибо, что пришли. Спасибо, что пришла, Вика. Деньги за таблетки там под стеклом возьми.

Папа машет рукой.

– Да чего там.

– Возьми, сказал.

Папа встаёт со стула и идёт к серванту. Берёт деньги – сто рублей и мелочь, кладёт в карман. Катя входит без стука и молчит, смотрит на нас. У неё в руках пластмассовый тазик с водой.

– Идите, а то мы сейчас мыться будем. Чего уставились?

Мы идём.

– Да, я его протираю. Сам-то не дойдёт, грохнется по пути. Да и пакостно у нас в душевых, что уж говорить. Вы идите. А то мы сейчас раздеваться будем.

И она зачем-то первая снимает свою обтягивающую зелёную футболку и остаётся в одном грязном лифчике на широких лямках.

– А то насквозь промокну, – объясняет папе, – давай, Борода, тоже. Не упрямясь, будет, будет.

Уговаривает как ребёнка, а мы выходим, закрываем двери за собой, не обращаем внимания на шёпоты, на крики.

– А за что он её шалавой назвал? – спрашиваю папу, когда мы выходим из подъезда, – они же – ну, вместе, что ли... Она вон его моет.

– Назвал и назвал. Не так ещё назовешь.

– У неё же муж. Он сам сказал.

– Слушай, Вик, мы пришли – потому что он попросил. Он же учитель, он к людям привык, а теперь застрял в общежитии, не выйти никуда. Даже от Кати устанешь, даже если она моет и уколы делает.

Я вспоминаю её живот с тонкими фиолетовыми растяжками, неровной кожей с плоскими коричневыми родинками, царапинами. Будто разделась только того, чтобы нам стыдно стало.

Идём на остановку и ждём трамвая. Прищурившись, высматриваю вдаль – никто больше не смотрит. Но скоро появляется всё равно – без разницы, смотрела или нет. Едет и звенит «четвёрка», притормаживает, и видно лицо вагоновожатой, причёска, плечи. Губы её накрашены ярко перламутрово-розовой помадой, отчего я не запомнила лица, выражения, улыбки.

– К пятому уроку успеваем, – папа смотрит на часы, – ты точно успеешь. Мне-то на остановку дальше выходить.

– Я думала, что ты на день отпросился.

– Ну конечно. У меня восемь уроков. И девятые классы, их никто не возьмёт. Надо успевать. Да и деньги терять не хочется.

Один раз он простудился, сильно – ходил с температурой, а потом левый бок колоть стало. На больничном был месяц, ходил по квартире только тихонько. Ему заплатили за тот месяц, но меньше – пришлось заниматься на работе, и всё равно шампунь купили самый дешёвый, в металлическом тубике, и мама в парикмахерскую не ходила, смотрела на себя в зеркало, на отросшие корни.

– Так не взяла с собой ничего. Ни учебников, ни тетрадок, – вспоминаю, – физичка домой отправит. Её бесит, когда нет тетрадки.

– Объяснишь. Я потом позвоню, объясню.

Представляю, как перед всем классом, перед Ксюшей и Настей,

перед Тиграном и Вовой, объясняю физичке, отчего не взяла тетрадку – качаю головой. Она носит пиджаки с подплечниками, тёплые юбки, туфли с квадратными носками.

Смешно.

Выхожу на нашей остановке – до школы десять минут быстрым шагом, и я успеваю на пятый урок. Иду вдоль забора.

– Вера! – кричу. – Вера!

Это впрямь она идёт – медленно, нога за ногу, с маленьким кожаным рюкзаком за спиной – растрёпанные учебники высовываются. Останавливается, оборачивается. Стоит.

– Подожди! – бегу, бежать легко без вещей, только с маленькой маминной сумочкой (она носила прошлым летом, а потом отдала мне в школу). Останавливаюсь рядом. Вера накрашена – тональный крем, неровно размазанный по скулам и подбородку, чёрный карандаш для глаз, помада.

– Ты куда так? И что не к первому?

– Мать будильник не услышала. А я встала пораньше и её косметос потырили.

– То-то губы-пельменины.

– Ничего не пельменины. Это же обычная помада, она другую не покупают. Скорее бы купила – ну, знаешь, которая увеличивает. Я бы сразу взяла.

– Она не орёт, если пользуешься?

Мы заходим в ворота, немного наклоняемся. Скоро вырастем, и совсем придётся в три погибели сгибаться. Мальчики, которые высокие, вообще с этой стороны не ходят.

– Да видит она. Я свет не включаю, быстро в ванную иду и там крашусь. Косметичка там стоит. А потом кладу всё как было. А она приходит вечером замурзанная, над тетрадками ещё сидит, ей не до меня.

Её мама тоже в школе работает. Не в нашей, в девятой.

– Её на работе не убьют, что она проспала?

Вижу крыльцо школы, на котором никого, только охранница вышла – никак не могу запомнить её имя; кажется, Надиля, но она недавно здесь, ещё не успела слиться со всем кругом, поэтому замечаю. Раньше был дядя Вася, тонкий и тихий, на него и не смотрел никто.

– Она ж с завучихой подружки. Убить не убьёт, прикроет. Родители могут только начать гнать – но не будут, завучиха сама и подменила. Подумала, что-то случилось – мобильник-то мать не взяла. Ничего, объяснит.

А вот как мы Крысе объясним – не знаю.

– Скажем, что были в поликлинике.

Вера смотрит как на дуру.

– Ага, в поликлинике. Вдвоём. Она же не шибанутая.

Надиля смотрит на нас с крыльца – чёрная, плечистая. Мы даже боялись немного, когда она впервые на работу вышла – чёрная, такая чёрная, с узкими губами, брови срослись на переносице, отчего словно сердится всегда. И не говорит – а когда говорит, то странно и отрывисто произносит слова. Но не так, как узбечки в столовой – смешно, а по-своему. И сейчас молчит, но мы сразу вспоминаем, что прогуляли один урок физики и идём на второй, что Крыса в пиджаке с подплечниками попросит показать тетрадки с домашкой, а у нас ничего.

– Ты дэээ сделала? – спрашиваю, хотя и знаю.

– Не успела, – говорит Вера.

– Ты Крысе ври. Слушай... я тут подумала про Валючку. Может быть, она не так уж виновата была. Зря мы вьелись.

– Да ты чего, – Вера останавливается, – вспомнила. Это когда было-то. Она могла десять раз с классом помириться, но не захотела же сама. Гордячка. Что, нам первыми нужно было подойти? Извиниться?

– Ну, может быть, и не извиниться. Так, позвать куда. Нельзя же так.

– Плюнь. Она и сама не вспомнит. Ещё и наорёт на тебя. Сама знаешь, какая.

Не помню. На последнюю парту не оглядываюсь, чтобы за ней не оказаться.

Мне близко.

И стыдно, что о другом говорю.

– Я тоже с домашкой мимо.

Вера смеётся, но тихо, чтобы не услышала Надиля – мы заходим в школу, идём мимо пустого стула охранницы в гардероб. Одежду только на перемене возьмут, зато не спросят, где были.

Работают дежурные, им всё равно.

– Тише, – вдруг говорит Вера, наклоняется к плечу, – там Никита. Не оборачивайся.

Не оборачиваюсь, но смотрю словно бы в сторону, безразлично – и точно, Никита, сидит на подоконники с книжкой – не с учебником, он никогда бы не стал сидеть с учебником, а с обыкновенной книжкой – волосы длинные за уши заправил.

– Что это он не на уроке?

– Может, отпустили, – шепотом.

– Не смотри, заметит.

– Я не смотрю.

– Сдай мою куртку. Я мимо пройду, посмотрю, что он читает.

Мне не хочется, что Вера глядела на книжку. Это нечестно. Это я умная, книжная, это я пойму, весёлое или грустное, вымышленное или по настоящему. Вера и хрестоматии по литературе не открывает. Но звонок звенит, и нужно сдавать куртки – иначе и на вторую физику опоздаем, а нужно тихо пройти, тихо сесть, спрятаться.

– Не разглядела, – Вера возвращается, смотрится в зеркало. Карандаш для глаз немного размазался – она стирает посплошными пальцами, – обложка красная, а буквы маленькие, белые. Не увидела.

– Хрен с ним. Наши уже из столовки возвращаются, идти надо.

Мы поднимаемся на второй этаж.

На Никиту смотрим второй год, а толку. К нам-то с Верой точно никогда не подойдёт.

Крыса нас не замечает и тетради не спрашивает – готовимся к контрольной, а это даже на листочке можно. Она вызывает к доске отличников, а мы просто за ними переписываем.

– Что утром не пришла? – говорит Вадик. Он на доску не смотрит, – русичка спрашивала.

– И что. Не пришла и не пришла.

– Сказала, что к классной пойдёт. Что ты с твоим пением в тетрадки не заглядываешь.

– Почему не заглядываю? Я изложение нормально написала.

– Ты ворона. Мы сжатое пишем, а ты написала подробное.

– Мне просто нравится писать длиннее. Какая ещё ворона? – не

его слово, не его.

– Так русичка сказала, мне-то что. Мог бы и не передавать. Крыса сейчас тоже пойдёт настучит, и пойдёшь ты к Бубле после уроков. Она тебя не дождётся, слюней уже накопила.

У неё болезнь какая-то, у нашей классной. Когда медленно говорит – вроде всё хорошо и понятно, но иногда, когда волнуется, злится или говорит быстро – всё слова словно наскакивают друг на друга, слипаются, и слюна летит. Ребята стараются близко не подходить к ней, переглядываются.

Замечает ли она?

Потом, когда кто-нибудь скажет – расстроится ли, поняв, почему дети всё время отворачивались?

Никто из взрослых не скажет. Из учительниц. Это нехорошо. Я иногда думаю – папу попросить, что ли? А то уйду, и она никогда не узнает.

Потому она и Бубля. Бу-бу-бу, ни одного слова не поймёшь.

Или Фубля, но так реже говорят – она неплохая, задаёт мало и была с нами с пятого класса, мой свитер с кошачьей мордочкой помнит, который я один раз всю зиму не снимая протаскала.

– Русичка не пойдёт. Сама не любит.

– Ну смотри, я предупредил, – Вадик наклоняется ближе, – может, споешь что-нибудь? Прямо сейчас. А то скучно.

– Я тебе что, плеер? Включи и слушай себе.

– Крыса наушники увидит и разорётся. Ну спой, тебе жалко? Ты же певицей хочешь стать, придётся петь, когда попросят. Или тоже скажешь – включайте плееры, дорогие зрители? – Вадик ржёт, зажимает рот ладонью.

– Так, Вадим и Вика Павлова. Чего смеемся? – Крыса стоит над нами.

– Ничего, Кристина Сергеева, – отвечает Вадик, открывает тетрадь, где только «Подготовка к контрольной работе» и написано.

– И как тебя в десятый взяли, – Крыса смотрит на его тетрадку и отходит к столу. У меня тоже ничегошеньки, но Крыса меня презирает и не обращается первая, хоть бы даже я на парту улеглась.

С последней парты всё равно не видно ни формул, ни слов; а

получается, что это я глупая, даже списать правильно не могу. Не за это презирает.

Прощаюсь только с Верой — больше не с кем — и иду домой, но там только мама.

— Папа ещё не приходил? У него же тоже восемь.

Мама качает головой.

— Звонил, что у них педсовет ещё, — мама молчит некоторое время, — ничего не готовила, поищи сама. Тебе на вокал ведь сегодня не надо?

— Нет.

А она с двенадцати дня дома.

Может быть, не захотелось.

Ничего такого.

Иду на кухню, отрезаю хлеб. В холодильнике сыр должен быть, оставался.

— Как на работе? — кричу в дверь. Мама стоит в коридоре, будто не зная, куда деть себя.

— Ничего. Крутимся.

Она заходит на кухню. На ней голубая хлопчатобумажная блузка и серая мягкая юбка до колен — не переоделась с работы.

— Ты чего?

— А? — она оглядывает себя, — да что-то не захотелось.

— Телевизор смотрела?

— Да.

Всё смотрела на мятую юбку и думала, что теперь всё будет не так.

*

— Съезжу к Севе, — говорит папа утром, в десять тринадцать, когда я выхожу из комнаты, заспанная, в длинной белой футболке (не у папы ли взяла когда-то давно, да так и оставила себе? Он не говорил). Мама проснулась давно — сидит одетая, накрашенная, хотя на работу сегодня не надо. Перед неё стакан с растворимым кофе, и водит ложечкой туда-сюда, сахар размешивает.

— Опять? — говорит она.

– Я же давно не был, – папа садится за стол напротив неё – мне остаётся стул между ними. Но не хочу пока кофе, да и не умылась.

– Давно, да.

– У него вчера температура была. Надо навестить.

– Навести.

Папа залпом допивает кофе, встаёт и моет чашку.

– Не понимаю, за что ты его не любишь. Ничего же не сделал плохого. Вы и не виделись особо.

– Почему. Я помню, как он приходил домой, на старую квартиру ещё. Тогда был здоровый.

– Это быстро. Ты же понимаешь.

– Понимаю. Вику только с собой не тащи. Ей заниматься надо. Готовиться.

– Вик, ты в выходные будешь учишься? – папа улыбается. Мы заговорщики, хотя и не сделали ничего плохого. Мне не хочется ехать к Бороде, но, если папа скажет теперь – едем, поеду. Не потому, что хочется вернуться в общагу, к запаху кошачьей мочи, к Катьке и к щам – но почему-то невозможно остаться в квартире, где мама злится и сидит, накрашенная и напряжённая. О чем-то говорили без меня?

Говорили? Папа берёт бутерброд с маленьким кусочком сыра.

– Я здесь, – говорю, – сама решу, хочу ехать или нет.

– Реши, – мама кивает, а сама на папу смотрит.

– Не надо сегодня, – папа доедает бутерброд и идёт в прихожую одеваться. У него куртка под кожу, тонкая, – он и не просил Вику приводить.

– Уже не думает, что умирает?

Мама встаёт из-за стола, оставляет всё как было – разбросанное, немытое; две чашки, хлебные крошки, нож, испачканный сливочным маслом.

Папа уходит тихо, сам за собой дверь закрывает. И я не успела бы собраться – всё стою нечёсаная, некрасивая (вижу отражение в зеркале тёмной прихожей, неясное, расплывающееся).

Заплетаю косички и иду к маме. Она смотрит передачу.

– Тебе куда сегодня? – сажусь на диван рядом. Она не плакала.

– Никуда, – удивляется.

– Я подумала – раз оделась, значит, собираешься.

– Просто надоело лахудрой сидеть.

– Ты не лахудра.

По телевизору начинаются новости, и мама делает звук тише.

– Пошли тебе чемодан покупать, – вдруг говорит она, и не знаю, что сказать – это же не так просто, что она вначале против была, а потом решила.

– Пошли. Но вы же сами говорили, что я со старым поеду...

– Мне аванс дали. Что ж со старым. Я подумала – если бы я ехала поступать, то тоже бы не рада была. Со старым барахлом, а красивой хочется быть. Я понимаю.

Я в школу в твоих вещах ходила, хочу сказать.

В джемперах, блузках.

У тебя они всегда ярче были, дороже. Мне зачем – всё равно порву или не сумею оценить качества ткани, магазина, в котором купили.

Ты носила несколько лет, а я потом. Нет, у меня и свои вещи были. Брюки, джинсы, белые блузки. Но самые-то красивые, которые хотела носить, были только у меня.

Так почему сейчас вдруг про чемодан вспомнила?

Что случилось?

Мы идём на улицу вдвоём, но не знаем, где можно купить чемодан.

– Может быть, в «Орбите»? – вспоминает мама. Можно было не вспоминать, а просто через дорогу посмотреть. И почти сразу, – у тебя телефон. Посмотри.

Я смотрю. Анна Николаевна. Не хочется отвечать. Я ни в чём не виновата. Но беру трубку, потому что, если не возьмёшь, придётся перезванивать и извиняться, и причину придумывать, а у меня ничего.

Вика, здравствуй.

Здравствуйте.

Ты пропустила два урока. Думала, позвонишь, а ты...

Знаю, что пропустила. Заболела.

Так сильно, что не могла позвонить?

Могла, конечно же, могла. Что звонить. Горло болит, но не поэтому, не поэтому.

Как раз думала позвонить. Только лучше стало.

Ну хорошо, стало так стало. Придешь ко мне?

И слышу, как кто-то распевается далеко-далеко, в соседнем классе, а к Анне Николаевне ученица ещё не пришла, потому мне и звонит.

Не знаю пока. Хочу, но горло...

Понятно. Ладно, звони.

И нет никого в трубке. Мы стояли с мамой на остановке, и мама всё слышала. Подхожу ближе к ней, грустная, виноватая.

— Может, две остановки пешком пройдем? — говорит мама. До «Орбиты» даже меньше. Раньше хотелось ждать автобус, теперь только смотрю на неё — пойдём, пойдём, сегодня лучи яркие, и я в кофточке на маленьких пуговичках, не чувствую холода, только ветер немного.

В «Орбите» народу — все пошли в выходной покупать продукты и смотреть вещи, а мы ходим, ищем отдел с сумками и чемоданами.

— Какой нравится? — спрашивает мама.

Оглядываюсь — те, что побольше, наверное, дорогие, поэтому показываю на маленький совсем чемоданчик с выдвинутой блестящей ручкой.

— Вам показать поближе? — продавщица подходит ближе, катит чемоданчик, — это хорошая фирма, никто не ещё не жаловался... Непромокаемая ткань сверху, дождь не страшен... Открыть вам?

— А сколько такой? — мама смотрит на продавщицу.

— За три с половиной отдам.

Мама качает головой.

— А сколько вы хотите? Это качество. Фирменный. Скоро привоз будет — там вообще по пять продавать будем. Спрос есть к лету.

— А подешевле ничего нет? — спрашиваю. Знаю, что мама не спросит, что это стыдно — спрашивать дешёвое; мне тоже стыдно, но уж очень хочется уйти с новым чемоданом, пусть даже и плохим.

— А вы куда собираетесь-то? — смотрит и видит по нам, что не собираемся за границу, что вообще редко уезжаем из города, разве что в деревню. Вот папа ездил, а мы только ждём.

— Девочке в Москву ехать, — говорит мама, и так говорит, что никуда не хочется.

– Девочке, – продавщица оглядывает меня. Раньше, когда не было в городе больших магазинов, мы с мамой ходили на вещевой рынок – за блузками, босоножками к лету, бигуди, расчёскам: мелочами, что терялись и не находились, забывались в школе и на работе, просто исчезали в течение лет – многое выслушивала от таких продавщиц: что полненькая, мол, у вас девочка, но сбросит, сбросит непременно, как подрастёт. Но я всё ещё не сбросила – смотрю в зеркала и думаю, что не сбросила, не сбросила, но что-то поменялось неуловимо.

– Девочке, – повторяет продавщица, – может, сумка пригодится? И дешевле гораздо.

Она вытаскивает коричневую сумку на молнии.

– Девятьсот. Вообще тысяча, но скидку сделаю, раз в Москву едет. Нечасто и едут. У меня вон тоже сын хотел, да не собрался. Работу нашёл. И мне поддержка.

Что ж тогда тут стоишь.

Руки красные.

Сама вещи разбираешь, а они китайские, пересыпанные чем-то.

Давно замечала – как купишь что-нибудь здесь, так потом обязательно нужно на балконе проветрить. Запах резкий, невозможный.

Оттого и руки.

– Что так смотришь? – не понимает продавщица, поднимает сумку повыше, – хорошая, берите.

Ну?

Мы берём. Мама достаёт деньги, а продавщица даёт сумку мне. Так и несу через торговый центр, в такт шагам размахиваю.

– Теперь домой? – говорю. Мама кивает. Ей ничего не нужно здесь.

Только – не знаю, сказать ли ей, но потом решаю, что не стоит – показалось, будто видела в «Орбите» папу – скамейке на втором этаже вроде бы видела его рубашку в тонкую синюю полоску.

Но мало ли рубашек.

Даже, наверное, в той же «Орбите» купили – есть магазин с мужской одеждой, недорогой, и очень хвалят.

У папы все рубашки оттуда.

*

Он возвращается в четыре. На кухне сидела и на часы смотрела, потом запомнила.

Он заходит, а мама делает телевизор громче.

Это что-то случилось.

Не знаю, что могла.

— Ну как дела у Севы? — тихо спрашивает мама, и я понимаю, что и она его в «Орбите» выдела.

А я виновата, что не сказала?

Я должна была?

Ведь могло показаться.

Могло. И до сих пор думаю, что показалось, потому что нечего папе было там делать, когда дядя Сева живёт на другом конце города, куда пешком не дойти, и даже трамвайная остановка в другую сторону — нечего, нечего совсем делать.

Они уходят на кухню, оставив непогашенным экран компьютера. И интернет не отключали — недавно только разрешали сидеть по двадцать минут в день только, из-за денег, а теперь папа сделал так, что можно хоть целый день. Нельзя, понятно. Тут без глаз останешься. Вера уже очки носит, но не из-за компьютера. Минус полтора. Это мало, но не знаю, сколько у меня.

Не надела бы.

Не надела.

Никто не поёт в очках.

А как бы Анна Николаевна смеялась. Что, сказала бы, сдалась?

Не сдавалась. И я пойду петь на поступлении с широко раскрытыми глаза, без очков, и думаю, что увижу всё, что следует видеть.

Пианино.

Встать.

Кивнуть концертмейстеру.

А потом и глаза не нужны будут.

Но на папином компьютере горит то, что несколько месяцев уже читала мама и молчала, а я видела, что что-то плохо, но не спрашивала.

Не стыдно, что читаю. Родители ссорятся вполголоса за закрытыми дверями.

Я читаю.

– Вик, ты чего здесь? – папа окликает скорее растерянно. Нажимаю быстро на красный крестик, но, думаю, он увидел.

– А что делать, если вы ругаетесь? – поворачиваюсь. Он видел. Краснею – чувствую, как горят щеки, потому что мы не делали этого никогда, не следили друг за другом, не проверяли. Ручаюсь, что могла бы даже сигареты в кармане куртки носить, и никто бы не заметил.

– Мы не ругаемся, с чего взяла?

– Слышу.

Слышала, всё слышала. Как мама говорила зло, сдавленно. Он тоже голоса не повышал – не привык, не научился. С самого детства не помню, чтобы они кричали друг на друга; не разговаривали, отворачивались – но шёпотом.

Часто хочу, чтобы кричали.

Чтобы закричали однажды так, что можно будет зайти на кухню и спросить – вы чего, что случилось?

Сейчас-то не зайдёшь.

Сейчас ничего.

Так поняла, что папе пишет ученица, но она не пишет ничего особенного. И я бы запятые ставила, когда пишешь учителю, взрослому.

– Она в одиннадцатом? – спрашиваю.

– Да, – что со мной спорить. Мама видела, и я видела.

– Понятно, – встаю, задвигаю стул. Надо бы посмотреть, как влезут вещи в новую сумку.

А мимо кухни прохожу на цыпочках.

Страшно маме в глаза смотреть.

(Продолжение следует)... Neкаýalar